МКОУ Людковская средняя общеобразовательная школа

Ю.В.Альтшуль

Машинописная рукопись

В апреле сорок второго

Людково 2012

Страшной выдалась для пятидесятой армии первая военная весна, а в особенности апрель. Единственная шоссейная дорога, по которой армия получала боеприпасы, продовольствие, даже сено и все остальное – «Варшавка» - утыкалась в город Юхнов, а за ним в немецкие минные поля , колючую проволоку и вражеские окопы. Дальше на запад, вдоль всего, чуть ли не стокилометрового фронта, были хлябь, болота, вспученная талыми водами земля – ни конному, ни пешему пути не было.

Надрываясь рубили саперы просеки, волокли на себе тонкие хлысты древесного подроста, мостили лежневку – дорогу из еловых да осиновых стволов, тощиною в снаряд полковой пушки. Но лежневки не спасали: разваливались под первым же обозом, лошади ломали на них ноги, колеса телег отваливались. Замирала жизнь в армейских тылах. Пустели склады. А на дивизионных обменных пунктах почти не оставалось ни снарядов, ни патронов.

Ночами в противотанковой батарее тысяча сто пятьдесят четвертого полка все повторялось сейчас, как всегда всю эту чертову весну. Ранним утром, еще в темноте, сержанты батареи Железнякова поднимали сонных голодных бойцов. По одному от каждого орудия. А там, где в расчетах уцелело по шесть номеров, что было редкостью, то и по два человека.

Кто с вчера был назначен в распоряжение старшины для транспортной группы, должны были будить сменившиеся с постов часовые. И в батарее это было самым нелюбимым занятием. Каждый старался не попасть в предрассветную смену, отругаться, а уж коль пришлось, злясь лез в тесную и духоту землянки.

- Волков! Да, Волков же! – дергал он впотьмах кого-то за мокрый осклизлый сапог, - Вставай, Волков!

- Пшел ты, Степа! – вырывался из рук продрогшего часового сапог

- Отвали: я Чесноков.

Переругавшись с половиною спящих, часовой все-таки разыскивал Волкова.

Землянки первой военной весны – темные, узкие, смрадные земляные норы, казались солдатам , завалившимся в них на отдых, до этого продрогшим на весенних промозглых ветрах, если не раем, то домом отдыха

или санаторием. Прижавшись друг к другу, греясь своим теплом и теплом товарища, никто не хотел вылезать наверх в стынь и хлябь.

Тем, кто назначался в утренней транспортный наряд, разрешалось с вечера укладываться спать первыми. А потом уже вокруг них ложились остальные. И транспортники конечно старались подыскать себе угол поукромней, чтоб не первыми подняли и минуту – две лишних отбить для сна. Казалось бы, что в них, этих хилых минутах, а каждое утро повторялось одно и то же.

Дежурный полусонный сержант строил перед штабной землянкой хрипящую, плюющую, продирающую глаза десятку.

- Чтоб каждый принес два снаряда. Каждый чтоб! Старший Волков. Шагом марш!

Опять простуженный хрип и плевки, да тяжкая матерная брань – в Гитлера, в весну, в поганую долю.

Они вернуться только вечером, опять в темноте, кланя свою судьбу, таща на плечах, или за спиной один – два снаряда. Сидякин и Волков принесут три или четыре. С этими здоровяками равняться некому, да и те в последний раз еле донесли свою норму.

Главная радость у каждого транспортника, что в следующий раз их очередь идти за снарядами только неделю спустя. А семь – восемь дней отдыхать. В окопах , под огнем, но не обливаясь потом и задыхаясь от усталости, гнуться под несильным грузом , выволакивая себя шаг за шагом из трясины. За очередью все батарейцы следят с отменной строгостью.

Снарядов, что за целый день смогут дотащить транспортные группы каждой батареи, должно хватить всего-то минуты на две беглого огня. По беглым сейчас никто не стреляет. Даже артиллерийский полк в день дает всего три выстрела для пристрелки реперов. Война захлебнулась в болотах.

- А если немец даванет? – постоянно обсуждается в окопах, штабах и на наблюдательных пунктах.

- Потонет фриц, - общее солдатское мнение, - Потонет, куда ему.

Немцы действительно в наступление не лезут. Сидят по буграм, в сухих землянках и окопах, да лупят, не жалея ни снарядов, ни патронов. А что им жалеть? У них вдоль всей линии фронта – три – пять километров позади и на

полсотни в длину – асфальтное шоссе. У них с подвозом боеприпасов беды нет.

В тысяча сто пятьдесят четвертом полку совсем худо с едой. В середине апреля кончилось все. Консервы, хлеб, овес…- все.

Мизерное количество боеприпасов, которое еще было на ДОПах, все что героическими усилиями бойцов и командиров тыловых служб удавалось доставить туда с Варшавского шоссе, полки, лишившиеся транспорта и проезжих дорог не могли перебросить через двадцать километров непроходимых болот кроме как не солдатских плечах. А что на них перебросишь , когда в окопах уже отмечены случаи смерти не от пули, не от осколка, а от голода.

Артиллеристам, прибывшим за снарядами, дают на ДОПе по сухарю. Это не подарок, не премия – расчет. Без дополнительного ржаного сухаря, который каждый будет по кусочку жевать всю дорогу, никто из них просто не дотащит до батареи два снаряда, упадет в пути. Хорош сухарь, спасение сухарь, остальным в полку вторую неделю норма – сухарь на три дня, но и за этот царский паек, если б не приказ, никто бы не пошел месить грязь до ДОПа.

В апреле сорок второго

Еще в самом начале нового тысяча девятьсот сорок второго года стрелковый полк шел след в след за кавалерийским корпусом генерала Белова. Ломился, как и кавалеристы, без дорог, напролом. Отставали тылы, отставали кухни, пехота и артиллерия шли вперед.

Вымотавшиеся бойцы и командиры противотанковой батареи еле горячую кашу – она же и суп – раз в сутки. Один-то раз старшина Пустынников исхитрялся догнать огневиков на привале, или в скоротечном бою.

Никто не жаловался. Но командиры орудий, что ни день тревожнее докладывали – силы бойцов на исходе.

Командир огневого взвода Железняков, тогда еще младший лейтенант, по молодости лет эти доклады слушал в пол уха. Одного раза в день, считал он, когда еды «от пуза» должно хватать .

- Учитесь у ездовых, - оборвал он однажды сержантов Полякова и Мартыненко, тревожившихся за свои расчеты, - Выделите кого-нибудь, пусть как они в ведрах еду варят.

Командиры орудий, понимающие глянув друг на друга, хмыкнули.

- Да что они жрут-то? – брезгливо то ли спросил, то ли обругал ездовых Поляков.

Позже докатился до Железнякова слух, которому он сначала не поверил. Хотя уже обращал внимание, что многие огневики – и те кто раньше хорошо относился к степенным сорокалетним мужикам ездовым, и те кто относился к ним так-сяк – плевались, глядя как на привалах у них над костром булькает в закопченном ведре какое-то варево.

- «Падаль жрут» - услышал он как-то. И снова не поверил.

А вскоре, углядев на привале, как соскочил подводы Буйлин и, прихватив с собою черное ведро, быстро-быстро затопал по белому снегу за сарай, тронул шпорой коня и тот, сойдя с дороги , двинул через сугроб за ездовым.

Вроде ни к чему было Железнякову смотреть, что там за сараем, да застряли в памяти намеки и брезгливые оглядки на ездовых.

Соскочив наземь, лейтенант быстро, в два прыжка, очутился рядом с Буйлиным. И тут его зашатало от подступившей к горлу тошноты.

За сараем взблескивали в руках ездовых топоры. Они рубили убитую лошадь.

Буйлин и, навесть откуда взявшийся Ермошкин, увлеченные делами даже не заметили подошедшего лейтенанта.

- Прекратить. – просипел он, севшим голосом. Захлебнулся слюной забившей, вдруг, рот, отплевался и взревел, - Встать! Смирно!

Пожилые мешковатые мужики испуганно вытянулись перед ним, опустив вдоль ног топоры.

- Это что? - грозно ткнул Железняков плетью в ведро с нарубленной кониной, - Что творите, Буйлин?

Тут только дошло до ездовых за что сердится взводный. Только понять в чем виноваты не смогли. И заулыбались во весь рот думая, что сейчас все разъеснят .

- Махан, - блеснул зубами Ермошкин.

- Махан харашо, - подтвердил Буйлин, разинув рот до ушей.

- Дохлую лошадь? Падаль? – еще свирепее взревел лейтенант. Сами копыта отбросите, балбесы!

Подошедшие на крик батарейцы хмуро поглядывались то на ездовых, то на полное мяса ведро. Но ни Буйлин, ни Ермошкин на них даже не оглянулись.

-Нам, мордвинам, махан, что вам теленок, - успокоил лейтенанта один из них.

- Махан харашо, - снова подтвердил другой.

Весь дневной переход ехал взводный задумывшись, то рядом с одним ездовым , то с другим. Слушал их торопливый говорок, переспрашивал иногда и опять задумывался. Торжествующих сержантов гнал на место, отмахивался. Пусть подтвердилось то о чем они говорили и слухи перестали быть слухами, но неясность оставалась. Как быть с ездовым – запретить им варить конину, или разрешить?

Убитый конь – не падаль. И на морозе сохраняется как в леднике.

Вечером у костра , на привале , попробовал Железняков потолковать со взводом о национальной еде. Но сам понял, что особого успеха его лекция не имела.

С ним соглашались , что в башкирских и татарских селах конина действительно привычная еда. Даже колбасу из нее делают. Соглашались, что мусульмане и верующие евреи свинины не едят, а в батарее такую еду только дай – треск пойдет за ушами. И нечего хаять Буйлина с Ермошкиным , не отказывающихся от еды и которой привыкли с детства.

Решили гнать предрассудки из батареи поганой метлой. И если кухня опять отстанет, от конины не отказываться. Но сейчас , когда их кормят нормально, никто даже не захотел хотя бы попробовать варево черного ведра.

Пришлось лейтенанту самому делом доказывать то в чем старался убедить всех. Показать что и непривыкший человек , коль надо, может есть все , хоть змеиное мясо, как восточные люди.

Однако, когда Ермошкин поднес ему миску с бульоном , в котором темнел кусок конины, его опять чуть не вырвало. Но все же и бульон выпил и мясо сжевал.

- Махан хорошо! – повторил он толпе ездовых после ермошкинского угощения , утираясь чьим-то полотенцем.

Но общий приглашенный гогот артиллеристов не оставил сомнения , что ясно видели они, что для русского человека махан –не еда.

Так и не прижилась зимой в батарее конина. А было её вокруг навалом. Всюду лежали убитые лошади из кавалерийского корпуса Белова. Загубленные немецкой авиацией в январском наступлении на всем его пути.

Весной тысяча сто пятьдесят четвертый полк съел все, что можно было съесть. Склады опустели. Сухари , которые иногда приносили с дивизионного обменного пункта , сразу раздавались бойцам, нигде не задерживаясь ни минуты .

Теперь о конине только мечтали. Последних беловских коней подобрали давным-давно. А те , что лежали в неприметных местах – в оврагах да перелесках, разлагались, червивели, в пищу не годились. Но и то изголодавшиеся люди выискивали и в них екски, что можно было без особого риска есть.

Совсем плохо было живым лошадям. Если боеприпасы и сухари еще хоть как то носили на себе , то кто же потащит фураж, все уже забыли что это такое.

Когда в деревнях Красная горка , Вязичня и всех остальных не осталось ни одной целой крыши: лишь стропила, как зубья уголками торчали над каждым домом, а вся солома с них до последнего клочка была скормлена лошадям, ездовые пошли побираться по батареям.

Подходили с протянутой шапкой к каждому артиллеристу и жалобно канючили:

- Отломи Вася… - Поделись, Коля…

Их стали боятся . Издали завидев непокрытые головы, прятались, пытались раствориться в весенней хмари , но те все равно возникали прямо совсем ниоткуда. Вот только что не было. И на тебе – стоит, сам шатаясь от голода, тянут руки руку с шапкой.

-… Отломи… Не себе прошу…

Злые злились. Добрые, как Чесноков, как Шкидский, почти плакали. От чего отломать? От чего? Чем делиться. С десятого апреля этой безумно ранней весны вся еда – сухарь в сутки . С пятнадцатого половина сухаря , потом – четверть . И наконец , совсем ничего. А фураж как будто никогда и не бывало в природе.

Здоровые мужики всю зиму легко уминавшие на двоих полведра каши с мясом , что им злосчастные полсухаря. А тут еще ездовой с шапкой – отломи, кони умирают.

Злые орали, что и нечего их кормить: все равно им не жить.

От рядовых, как известно, на войне тайн почти нет, все они знают, извещаясь от одного другому. Вот и теперь каждый слышал что и в стрелковой батальонах, и в транспортной роте лошади сдохли с голода почти все. Даже ни одного верхового коня нет в строю. Командир полка с комиссаром пешком ходят. Ух их то коней кормили без отказа. Все одно – подвешены теперь на лямках меж деревьев, ушами еще шевелят, да недолго проживут , от силы дня три-четыре.

Красноармейцам все ясно: сами крестьяне и дети крестьянские, видывали такое и дома, бывало. Теперь отдай коню последнее, сам сдохнешь и того не спасешь, все равно неделю спустя в воронке от бомбы закопав. Нет уж, пусть лучше лошадь сдохнет на неделю раньше. А правильнее зарезать тех, что остались , сварить – спасти людей от голодной смерти.

Но говорили об этом только меж собой. Даже к взводным с такими просьбами не шли: знали бесполезно. Перекатывались от батареи к батарее, от роты к роте, страшные рассказы о грозном кавказском человеке, молнией сверкавшем в армейских тылах и знавшем только одно слово – расстрелять.

Там расстреляли кладовщика, там повара. В соседней дивизии один из батальонов зарезал обозного коня, который все равно вот вот бы и сдох. И не успели пустить на варево. Отняли , зарыли в землю. А рядом выросла могила

комбата. Расстрелян за невыполнение приказа о сохранении конского поголовья. И взводного расстреляли. И ездового. Поди-ка тут замахнись на коня.

Что правда в этих рассказах, что нет – никто не знал. Но, обрастая подробностями катились они и катились из полка в полк. Жалели комбата. Ездового тоже. Кладовщика, говорили , так и надо. Поминали Петра первого, который вроде бы говаривал, что тыловиков можно расстреливать без суда и следствия.

В противотанковой батарее Железнякова до середины апреля ни один конь не сдох. И даже на лямках висели немногие. А Ермошкинский Буйвол даже до склада кое что возил. Как это удавалось Ермошкину все только диву давались. Каждый день он и Буйлин как то ухитрялись наскрести по четверть шапки хлебных крошек.

Но, сами ездовые, среди такого царского изобилия , становились все бледнее и прозрачнее. От сухарей, причитавшихся им самим, неделями не перепадало ни крошки ни тому ни другому: все отдавали лошадям, словно родители детям.

Железняков – уже три месяца как комбат – со всеми заботами батарейного командира, этих двоих не выпускал из вида ни на день, приглядывался к ним с особой тревогой. Все батарейцы слабели. На каждом шинель сидела балахоном, а поясные ремни затягивались чуть ли не до самой пряжки. Но эти двое! Уж не раз в траншеях пехоты и рядом со своим наблюдательным пунктом приходилось комбату видеть такие же восковые, обострившиеся лица. Там голод доставал красноармейцев сильнее. Целыми днями они в грязи, засасывающей людей в окопах хорошо еще если только по щиколотку. Что стоять, что ходить, все как в болоте. Стены сырые, ранние злые дожди, пронизывающая весенняя сырость и холод. В землянке только только кончил дрожать , пригрелся - выходи. То ли стрелять, то ли дежурить.

Бешенно завидует пехотаартилеристам: те, как никак, на триста четыреста метров позади , у них и на огневых сухо и землянки суше и просторней.

А кому завидовать артиллеристам ? Ездовым, которые с лошадьми за рекой? И вот поди ж ты, первыми в батарее стали дистрофиками Ермошкин с Буйлиным – ездовые. С такими как у них лицами в пехоте через день-два ложатся, чтобы больше не вставать. Видел Железняков эти заострившиеся

носы в траншеях. Днем идешь – еще стоит у пулемета, а к вечеру – на дне окопа, полузасосанный в грязь, или затянувшийся позади бруствера полуприкрытый шинелью.

Михаил Пеньков – врач, хоть и ветеринарный, но в жизни и смерти разбирающийся, проверяя лошадей батареи поглядывал, поглядывал в сторону Ермошкина с Буйлиным, потом отвел Железнякова в сторону.

- Ты, Витя, видишь, что у этих мужиков лошади крепче всех, а сами они хуже всех?

Витя видел, да что он мог поделать.

- Позови.

- Буйлин и Ермошкин, ко мне!

И вот они, стоят , колышатся.

- Чем кормите лошадей? – строго спросил ветеринарный врач.

- Ветками, корой, - показал Буйлин на ободранные вокруг деревья, - супчиком…

- Че-е-ем? Каким таким супчиком?

Оказывается из веток, мха, коры и кустарника Ермошкин варил суп для Буйвола. И тот, видно из доброго отношения к хозяину, это варево ел. Остальные кони, раз окунув в него губы, фыркали, отворачивались, пятились назад.

- Сколько дней сам ничего не ел? – угрюмо спросил Ермошкина комбат и кивнул на Пенькова, - Доктор говорит неделю.

- Каку неделю? Каку неделю? – зачастил Ермошкин, - Дня три.

- А сухари? Буйволу отдал?

- Так скотина же. Бессловесная ж. Так жаль же ж!

- В пехоту отправлю, понял? – пригрозил комбат, - Завтра чтоб при мне паек съел.

И сам чуть не ухмыльнулся. Два дня сухаря не выдавалось никому. А что будет завтра неизвестно.

- Да, - закончил осмотр Пеньков, - Еще неделя и всех коней мы зароем. Останется один Буйвол. А за Ермошкиным глядя да гляди – первый кандидат на тот свет.

Вечером на огневых позициях Железняков убедился, что таких кандидатов у него больше.

Даже во взводе Полякова – лучшем взводе – расчет не смог вытащить оружие из укрытия. Двое просто повторяли сознание.

Мартыненко, командир второго расчета, раньше один таскавший пушку, собрав к себе десяток чужих бойцов, даже с ними еле-еле выволок её на позицию.

- Что , Мартыненко, будем делать через неделю? – спросил Железняков.

- Продержимся, товарищ комбат! – лихо гаркнул тот в ответ, по-прежнему сверкнул глазами.

- А ты что думаешь, Чесноков?

- Продержимся , товарищ комбат, - тихо ответил самый слабосильный боец поляковского взвода.

Все обещали продержаться. И на самом деле были уверены в этом. Но, день-другой – Железняков реального оценивал обстановку – и одно орудие еле выкатит уже вся батарея. И это понимал не только он.

- Комбат! – прямо сказал ему взводный Поляков, - И больше не буду прятать пушки в капониры. Немцы доберутся до меня раньше, чем мы вылезаем из ямы и сможем выстрелить.

И это еще артиллеристы, специально отобранные в расчеты здоровенные мужики.

А в пехотных окопах люди медленно таяли. Те, кто освободился от дежурства и ему не нужно было нести боевую службу, залегали недвижню на нарах в землянках и еле выползали в окоп даже по тревоге. Кое-как прилаживались к ставшим тяжелыми как бревна винтовкам в обмятых прорезях бруствера. А отдача после каждого выстрела сбрасывала половину стрелков вниз в траншею.

Редко в окопах стреляла пехот. А в батальонных тылах под горой, в зарослях у реки пальба шла будто отбивалось немецкое наступление. Каждый, завидевший на дереве грача или ворону хватался за винтовку. Птицы уже не садились на ветки. Но и в воздухе им не было спасенья. Пули гнали их прочь от переднего края. Крупных быстро выбили и съели. Теперь палили по синицам, стрижам , воробьям, сбили высоко в небе даже – жаворонка, на свою беду прилетевшего раньше времени. Не промахнулись: многие обзавелись снайперскими винтовками. А что от синицы толку? Даже если её не разнесет пулей в клочья – мяса на один укус.

Бинокли артиллеристов чаще смотрели не в немецкую сторону , а в тыл, за речку Перекшу. Искали там старшину с ездовыми. Оставшись без лошадей они носили теперь на себе все что удавалось достать. Все ждали еду. Патронов и гранат хватало, запаслись вдоволь. А еда, чуть ли не на сотню людей, умещалась в половине вещевого мешка – «сидора».

Очень не любил Железняков теперь весною бывать в своих тылах, что стояли позади , километрах в четырех за Перекшей. Туда не доставали пули, да и снаряды рвались только изредка, потому что там и разложили, чтобы сохранить коней. Но в последние дни смерть все равно гуляла там меж деревьев в сыром и хмуром еловом лесу, где подвешенные на лямках неподвижные кони. Или раскачивались вместе с колебанием ветров деревьями, все быстрее слабея.

Лес повешенных лошадей, - сказал кто-то. – И пожалуй точно. А Железняков знал здесь каждого коня. Не только по кличке, помнил – этот под огнем вывез и спас орудие, на этих сам вырвался из под бомбежки со взводом. Теперь, казалось, даже масть у всех одинаковая – бурые все какие-то , линялые, темные, и ребра у всех торчат , как стропила на ободранных крышах.

По пути в тыл комбат задержался у подножья высоты двести сорок восемь ноль.

Бодрый, сверкающий, весело журчащий светлый поток снежной воды, устремившийся по лощине меж высотой и Красной горкой, преградил путь.

Пока мыл в нем сапоги, да искал место поуже, чтобы перепрыгнуть, наткнулся на обычного весеннего пехотинца. Черный от копоти, весь в заскорузлой окопной глине человек стоял на четвереньках прямо в грязи на

краю ручья и красной , замерзшей от ледяной воды рукой полоскал в нем какую-то темную тряпку.

Во молодец, - решил про себя Железняков , не хочет ходить в грязной рубашке, - стирать изловчился.

И еще мелькнула мысль – если у старшины есть мыло, надо чтобы батарейцы тоже привели себя в божеский вид.

Но пригляделся и перехватило горло: понял что полощет пехотинец.

Чуть тронул грязного человека чистым носком отмытого сапога.

Черная, закопченная сажей маска с огромными голубыми глазами повернулась к нему снизу от воды.

Он удивился яркости глаз. У всей пехоты, на кого сейчас ни глянь, они оловянные, тусклые , а тут такая синь. Наверно небо, отраженной ясной водой , сверкнуло на черной маске.

Но уши, высохшие пергаментные уши, что торчали лопухами, да глубокие провалы щек, делавшие лицо пехотинца узкими, как выщербленный топор, показывали, что он на последнем пределе истощения.

- Что делаешь, братец? Подохнешь ведь.

Крикнуть не смог. Сказал тихо.

Кривые дорожки слез зазмеились по черному лицо. А может быть они и раньше были, не первые это слезы. Но , человек даже не попытался встать с четверенек.

- Брось, - еще тише сказал Железняков, - Сейчас же брось. Яд это.

- Товарищ командир, -также тихо, но жалобно прошептал пехотинец, - Не отымайте, товарищ командир. Прелестное же мясо.

А его красная рука все полоскала, полоскала черные лохмотья сгнившего конского мяса, подобранного им где-то. И белые жирные черви вымывались из него в сверкающую голубизной воду, плыли и плыли к реке Перекше.

Конница Белова. Конница Белова! Кавкорпус, прорвавшийся в середине зимы через Варшавское шоссе и раскидавшийся близ Варшавки сотни лошадей, сраженных с неба самолетами, которых у тебя не было. Может

быть весною ты спасаешь его – черного пехотинца – конница Белова? Последним куском конины спасаешь.

Железняков шагал к лесу, изо всех сил сдерживая клокотавшую боль, шагал, не сказав у ручья больше ни единого слова, и всю дорогу вбивая каблуками в землю, печатая на ней тяжелые слова:… прелестное мясо…прелестное мясо. Будь ты проклята война. Пусть он умрет… Он все равно умрет. Но, пусть ему хоть покажется , что он был сыт перед смертью.

А слезы текли и текли, щекотные, соленые, остановить он их не мог, не хотел, да наверно и не замечал.

- Что с Вами, товарищ комбат? – кинулись к нему в лесу. Он не понял.

Ему дали полотенце обтереть лицо. И только тут , почувствовав губами соль, Железняков догадался , что до самого леса прощался с погибающим от голода пехотинцем.

И не с ним одним. Нет, не с одним.

И близкие друзья-товарищи. И просто однополчане. Многие иссохшие до прозрачной бледности тревожили Железнякова. Даже в самой батарее угадывал комбат по лицам близкую еду. А уж его противотанкисты держались дольше всех. Еще в марте приказывал Железняков все свои личные вещи, и вещи живых и погибших командиров сменять в далеких тыловых деревнях на сало, муку и лепешки. Угадал душой командира, что может придти в батарею черный час. И опыта житейского в двадцать лет всего ничего, и думать тогда никто не думал ни о ранней затяжной весне, ни о голоде , а поди ж ты, угадал! И продержалась батарея лишние дни только на этом припрятанном про запас мешке с продовольствием.

Теперь все. Резервов ни крошки. И истощенным людям, что высосали себя внутри целиком, держаться не на чем.

Железняков шел в тылы вроде бы за чем-то другим. Но в душе то он знал, что сейчас будет. Только признаться в этом не мог даже самому себе. Не хотел. А знать то он знал. Шел он спасать батарею. Понимая , хорошо понимая, что и сам может погибнуть и бойцов своих не спасти, не сберечь. Но, больше ничего у него не было в запасе. Ничем кроме этого не мог он рискнуть. Только собою.

У старшины Пустырнникова было растерянное лицо.

Он с двумя ездовыми дошел до дивизионного обменного пункта, а потом добрался аж до армейского продовольственного склада. Но даже у своих земляков саратовцев не выпросил хоть по четверть сухаря на артиллериста , ничего не добыл для батареи.

Перво наперво на складах ничего нет.

И потом запуганные все. Капитана там какого-то ихнего, рассказывают московский генерал своею рукою что-ли шлепнул из пистолета за десять сухарей. И еще кого-то. За три. Там все рапорта пишут, на передовую просятся. Боятся её, как черт ладана, а пишут. Лучше , говорят, там с голода умереть. Про пули теперь и не вспоминают.

Так и не дали старшине ничего. Даже землянки.

Иди , посоветовали, под Юхнов. Там на шоссейке все есть. Помогут.

Так ведь до шоссейки , по нынешним силам и дорогам, дней с десять топать. За дезертирство всех постреляют. Порядили, подумали, пришлось вернуться. И так они чуть ли не трое суток плавали в грязи по пузо.

Помолчав старшина пожаловался:

- Ермошкин два дня не подымается , ослабел. Самый старательный боец. Вот уж кого жаль так жаль.

Еще двое в тылах дышали на ладон, но пока держались на ногах.

Столько же было, знал комбат, и среди огневиков.

- У нас только один путь спасти батарею, - сказал Железняков, собрав в просторный шалаш старшины всех ездовых, - Один! Накормить людей кониной.

И умолк, давая всем привыкнуть к сказанному.

- Расстреляют, товарищ комбат, - приподнялся минут через пять старшина, - Вас же первого и расстреляют.

Ничего больше не сказал Железняков. Ничего больше не сказал никто. Долгое молчание застыло в шалаше.

Потом кому-то пришла первая мысль.

- Если на Буйволе привезти на передовую снаряды, а самого его пустить попатись у речки?

- Ну да, - тут же поддержали его,- Там у Перекши уже во всю трава зазеленела. С обрыва видно.

А что,- задумался вслух старшина,- Вполне могло б и немецкой миной достать.

И опять надолго все замолчали. Все понимают , что надо, и хорошо бы спасти батарею от смерти, да каждому своя жизнь тоже не чужая. И, вдруг, заговорили всем разом. Все об одном.

- Прокурор, он не мятелки сюда вязать приезжал…Не лыко драть.

Прокурор дивизии уже неделю назад , или около того обходил с начальником ветслужбы полковой лес повешенных лошадей.

Потом собрал всех тыловиков у опустевших коновязей и держал короткую речь.

- Не вздумайте коня в котел затолкать. Было уже такое в левофланговой дивизии…Расстрел…

Выслушал нестройные выкрики, покивал головой, застегнул кожаное пальто на все пуговицы и погрозил всем пальцем.

- Смотрите!- сказал. Потом сжал кулак и взмахнул им над головой, - Рука социалистической законности не дрогнет!...

Все очень хорошо запомнили эту вроде бы беседу. И руку, которая не дрогнет.

Но мысль уже обрастала деталями.

Самое простое убить. В этом за целый год войны люди поднаторели.

Но, потом.. Что будет потом? Когда рука социалистической законности доберется до каждого.

И вдруг дикий вопль оглушил и ошарашил.

Кто-то схватился за оружие. Кто-то за сердце.

Улыбнулся один комбат. Ему, как-никак, первым идти под расстрел. Ему бояться нечего.

- Ну вот,- сказал он, - Вот она и рука. Кому-то уже врезала.

Когда же за стенкой шалаша вопль повторился , все узнали голос.

Минуту спустя , спотыкаясь, цепляясь руками за лапник у входа в старшинский шалаш , встал, покачиваясь, ездовой Ермошкин – первый кандидат на тот свет.

Глаза его обычно узкие и приветливые, ярко светились злобой и были круглыми, как у совы.

- Ня дам! – еще раз крикнул он во всю мочь и крестом раскинул руки, - Ня допущу.

А на большее не хватило. Ни стоять , ни идти, ни кричать.

Цепляясь за колючие ветки, он рухнул там же у входа, просипев своим обычным голосом:

- Ня дам. Буйвола ня дам. Ня подходи!

И потерял сознание.

- Как же , ня дашь, - бурчали ездовые односельчане его, перенося Ермошкина обратно в соседний шалаш, где он в последние дни лежал на попоне, не подымаясь, - И как только услышал? Откуда сил взял подняться.

А Ермошкин, очнувшись, только шептал :

- Буйвол. Бедный, Буйвол!

Даже рукой шевельнуться он больше не мог.

С утра , еще раз обходя огневые позиции, карабкаясь на высоте двести сорок восемь шесть, пересчитывал тех, кто еще в силе , кого не так уж задавил голод. Железняков беспрерывно думал о тех, кого пошлет на операцию «Буйвол».

Нужны десять человек. Пятая часть огневиков. А откуда их взять?

Ясно , что тыловую группу старшины посылать нельзя. Хотя хозяйственные , ловкие мужики очень бы пригодились , несмотря на свой преклонный возраст.

Первый же вопрос, что в штабе полка, что в прокуратуре, сразу все поставил бы на свои места.

Зачем тыловики пришли на передовую? Что им здесь делать за четыре километра от лошадей, обозного имущества и хозяйства. Кто приказал им прибыть на Красную горку.

И все ясно.

Вообще ни к чему были все вчерашние разговоры в лесу: никто оттуда не будет участвовать в операции, а знать о ней уже знают они все.

Еще ничего не сделано, а уже ошибка на ошибке.

И это еще далеко до ответов на сложные , профессионально, закрученные вопросы следователя. Где им, мужикам из глухих мордовских деревень тягаться с юристами. Лучше бы им ничего не знать. Но знают. И это очень плохо. Можно подвести под расстрел не одного комбата, а и других участников операции, соучастников, так сказать.

Железняков и для себя не хотел бы такой судьбы , но готов был собою рискнуть для всех. Не может он допустить, чтобы его батарейцы умерли от голода. Но, невозможно допустить и суд трибунала для десятерых. Нельзя действовать в тайне, понимая, что это и не тайна вовсе.

На Красной горке и высоте двести сорок восемь ноль приняли позиции трех орудий. Половина батареи. Отсюда он не возьмет и десятерых. Вторая половина батареи и знать ничего не будет.

Он несколько раз проходит по обрыву над Перекшей вдоль домов Красной горки, до оврага перед высотой двести сорок восемь ноль и поворачивает обратно.

Еще одна ошибка. Когда послезавтра будет просвечиваться каждый его шаг , сразу выяснится, что никогда до этого он не бродил без дела по деревне.

Но, повезло: навстречу ему , опираясь на палку вышел Федя Листратов. Комбат два. Герой полка, тот, что вдвоем с Новичонком отбил четыре атаки

немецкого батальона на деревню Проходы в феврале при прорыве десанта на Варшавку. Где б он ни появился на него оглядываются. Понятно и сейчас на него смотрят и высота двести сорок восемь ноль и Красная горка.

Идет, хромает. Плохо зажила рана, полученная в июльских приграничных боях. И январская , здешняя, тоже. Все знает о нем Железняков. Да и Листратов о нем тоже. Почти не осталось в полку тех, кто был в нем с Базарного Сызгана , с дней формирования. На полгода боев только и хватило тех кто был в самом первом из них. В десанте вообще от полка осталось только двенадцать человек , да уцелели те кто был ранен до этого.

- О, Витя, как жив со своей « Прощай, Родина»?

«Прощай, Родина» - фронтовая кличка противотанковых пушек, которым приходится стрелять с таких позиций и по таким целям, что шансы на жизнь в орудийных расчетах втрое меньше, чем даже у пехоты.

Но, шансы шансами, а выучка , а хватка и опыт тоже стоят немало. Шансов выжить нет , а в батарее Железнякова за все полгода ни одного убитого, чем горд он и счастлив.

- Тебя ищу, Федя. С утра.

Подтвердит, коль придется объяснять , зачем бродил по Красной горке. Но это послезавтра. А сегодня лишнее раздражение. Ну что он даже другу врет , что крутятся, как уж.

- Не можешь чем поделиться с батареей? Хоть по пол сухаря?

Мрачно смотрят командир батальона. Для батареи, которую он просит поддержать в каждом бою, для Виктора Железнякова отдал бы все. Сколько людей сохранил ему огонь противотанкистов. Все отдал бы им, все, да нет ничего в батальоне.

- Фельдшер говорит : пятеро бойцов умрут сегодня от голода.

- А в полк отправить, в медсанбат?

Не отвечают Листратов не бессмысленные вопросы. Оба понимают, что от медицины здесь только нет и не будет. Не лекарства нужны, а хлеб, крупа, мясо, картошка. В окрестных полях батальоны давно уже вырывали

перезимовавшую в земле и сгнившую весною картошку. Вырыли, отмыли, отжали, а из оставшегося крахмала наделали лепешек и съели.

- У тебя как, Витя?

- Трое, пожалуй. Не сегодня – завтра.

Листратов на этой недели похоронил на Красной горке четверых. Удивляется. Самые здоровые были. Самые выносливые. Как их свалило, не понять.

- Эх,- скрипит он зубами, - Пострелял бы я тыловиков к чертовой матери. Умудрились, гады, фронт без хлеба оставить!

Не до мяса ему, не до каши, командиру стрелкового батальона. Хлеба бы. Красноармейцев бы сохранить. Хлеб бы был, выжили б, продержались.

- Стреляют,- вскипает Железняков,- Говорят , какой-то кавказец лупит там в тылу направо и налево. Толку что?

- Лошади сдохли! – заходится в гневе Листратов, - Не дали прирезать. Людей бы спасли. Неужто не понимают остолопы?

Оба еще некоторое время возбужденно кричат друг другу какие-то верные , но бесценные слова . Со стороны кажется: они вот-вот подерутся. Но им не на ком сорвать зло и через некоторое время говорить уже не о чем. Потому что ни о чем другом они сейчас говорить не могут.

- Неужто и у тебя трое? – еще раз сокрушается Листратов и виновато жмет ему руку, - Прости, Витя, ничем сегодня выручить не могу.

Железняков понимает, чем угнетен особо именно сейчас комбат два. Неделю назад, когда в батарее еще был кое-какой запас, делился с ним противотанкист. Много ли мало, а котелка четыре с каким-то варевом посылал ему и тем помог продержаться, по сей день.

А в нынешнюю ночь разведчики батальона , знает батарея, лазили к немцам и , наверняка, приволокли что-нибудь из еды. Видимо, Листратов не удержался, съел с утра либо хлеба кусок, либо мяса дольку, больше-то вряд ли досталось, но и поэтому трудно ему было смотреть на совсем голодного друга.

Опять один идет Железняков по Красной горке, продолжает свои тяжкие расчеты.

Буйвол будет внизу у реки. На гребне высоты в полутора километрах от него окопы пехоты. Голодающие стрелки, конечно, будут смотреть только на коня, да надеяться, что прилетит немецкий снаряд и завалит его.

Сколько их там живых на двести сорок восемь ноль?

Человек двести. Значит двести свидетелей. И видеть они однажды только то, что нужно. И рассказывать тоже. И лучше бы был взрыв , а не пуля. Но, не из пушки же бить Буйвола.

А откуда стрелять?

Лучше всего из-за реки , с крутого лесного обрыва.

И этого нельзя, пуля должна прилететь со стороны немцев. И пролететь там , где она может пролетать. С высот бы над оврагом. Но там огневые станковых пулеметов батальона.

Как оказывается, много мест, откуда, можно бить по противнику и как мало позиций для незаметного выстрела по Буйволу.

И хватит болтаться по деревне, хватит!

И вопросы, вопросы, вопросы каждому , кто будет рубить коня:

- « Откуда ты взял топор?»

Несложный вопрос. А действительно, откуда? Почему он, почему они все, если специально не готовились к этому, оказались все около подстреленного Буйвола. Не ходили же они всегда с топорами.

«Куда понес мясо?...Где взял ведро?...»

Конечно, ведру здесь неоткуда было взяться. Тем более десяти ведрам. В двух Буйвола не унесешь. Значит, ведро тоже улика. Ведер не должно быть.

А где должен быть он , комбат? У реки ему делать нечего. Сразу будет ясно, что пришел специально, чтобы все организовать. Вот и подставился. Вот и все наружу.

Но, разве можно бросить людей одних, вроде бы сам ты в сторонке, ни в чем не виноват, а они , рядовые сами…Не годится этак то.

А как годится?

Как, как? Рисковать надо вместе с ними. В бою все вместе и здесь должны быть вместе.

Приказать ничего нельзя. Учить отвечать на вопросы тоже. Или можно? Просто нельзя без этого. Только все должно быть просто, бесхитростно, чтобы деревенские ребята не запутались в словах.

Еще в темноте, перед рассветом, старшине оседали Буйвола. Ездовые , притащившие последние четыре лотка с осколочным снарядами, хранившихся в орудийных переделках, кто как мог попрощался с конем. Его похлопывали, гладили, подносили распаренные в кипятке веточки. Буйвол пофыркивал, ел неохотно, лотки, прикрепленные, как вьюки, раздраженно охлествывал длинным хвостом.

- Довольно, - оборвал прощание старшина, - Следите, чтоб Ермошкин подольше не узнал.

Хотя вряд ли Ермошкин уже мог что-нибудь узнать. Он почти все время был в полузабытья, большей частью спал, есть не просил из шалаша выбирался только раз в сутки.

Когда стало светать, старшина переехал через Перекшу. Еле добрался. У коновязи, рядом с другими лошадьми, Буйвол казался здоровяком. Особенно в сравнение с подвешенными на лямках братьями. На дороге его шатало из стороны в сторону.

Правофланговое орудие с высоты двести сорок восемь шесть тремя снарядами ударило по пулеметному блиндажу в центре Медвенки. Первый, пристрелочный, разрыв встал столбиком дыма, всплеснул огнем. А два никто и не увидел: влетели прямо в амбразуру, и только в бинокль можно было различить, как пошел оттуда дым, и закурчавились струйки дымков из каких-то щелей. Никто не выскочил из блиндажа. Но, рядом замелькали вдруг солдатские каски, собрались к блиндажу и разлетелись, засуетились , замелькали по всей траншее. И сразу шквал пулеметного огня ударил из Медведки, разбудив все об сторону тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

Теперь уже на высотах двести сорок восемь ноль и двести сорок восемь шесть из всех окопов высунулись каски пехотинцев, занимавших свои места по боевому расписанию. Такого огня немцы давно не вели. Не иначе как наступают и надо их отбивать.

Но огонь продолжался , а немцев в поле не было. И никто не понимал , что происходит.

Этого и ждал Железняков. Того и хотел. На это и рассчитывал. Все должны были смотреть в сторону Медведки.

Всего полчаса и довелось Буйволу пощипать весеннюю травку, которая только и росла сейчас близ берега речки. Вскочив в седло, Железняков двинул коня вправо, вдоль берега Перекши, к подножью высоты, к лощинке меж нею и деревней, к правому флангу, откуда стреляла его пушка.

Он ехал верхом, что должно было потом объяснить его присутствие на месте происшествия, которое приближалось с каждым шагом. Ехал и невольно ежился. Винтовки- то ударят снайперские. Однако, долго ли промахнулся всего-то на метр и вместо не придумалось и пришлось рисковать.

Как только голова Буйвола показалась в лощине меж Красной горкой и высотой двести сорок восемь ноли , две пули одна за другой сразили кон Никто в грохоте немецкого шквального огня не услышал выстрелов взводного Полякова из немецкой же снайперской винтовки, еще ночью засевшего в шалаше посередине лощины. Две пули попали в голову Буйволу, вырвав уздечку из рук всадника. Третья обожгла Железнякову шапку, когда он падал вместе с убитым конем.

Казалось, все пехотинцы из окопана высоте смотрели только в сторону Медведки, на Варшавское шоссе, откуда хлестали немецкие пулеметы и била по высотам и Красной горке немецкая артиллерия. Но, крики нескольких бойцов , которые несмотря ни на что почему-то вглядывались в тыл, привлекло внимание батальона к тому, что происходило у реки Перекши.

Сначала все с недоумением смотрели на то, как от трех противотанковых пушек убегают артиллеристы. Это было непонятно. Такого никогда не было. А все непонятное тревожит вдвое. Поэтому зрителей стало еще больше.

Даже подумать , что пушкари бегут, спасаясь от огня, при всей невероятности такого предположения, было нельзя: снаряды противника рвались далеко в стороне. Люди бежали от орудий, по которым немцы не стреляли. А от того, что было накрыто мощным кустом разрывов, никто не отошел ни на шаг.

Но те, кто первыми обратили внимание батальона на тыл, теперь чуть ли не выскакивали из окопа и размахивали руками.

- Железнякова подстрелили! – наконец понять окопы.

Разом стало понятно, куда бегут артиллеристы. Все вгляделись и увидели, как на берегу хромает командир противотанковой батареи, еле выскочивший из-под падавшего коня. А артиллеристы, сбившиеся возле него, махали руками и почему-то какими-то лопатками.

Еще несколько минут царило в окопах недоумение , пока не стало ясно, что артиллеристы, сбежавшиеся под откос, сбились в главную кучу возле рухнувшего коня.

- Мя-с-со рубят! – вдруг все поняв, заорал кто-то в окопе.

- Конина! – подхватили уже несколько.

Железняков, стоял неподалеку от Буйвола, от которого уже отрубили и уволокли большие куски, зорко оглядывался во все стороны и подгонял да подгонял своих батарейцев.

- Не задерживаться. Не разглядывать!- орал он,- Отрубил и бегом. Чтоб через пять минут!...

Он и вчера понимал, что стоит задерживаться, и голодные пехотинцы, налетев, руками разорвут все, что не смогут унести артиллеристы.

Теперь же, глянув в очередной раз на высоту двести сорок восемь ноль , воочию увидел, как выскакивают из окопов стрелки и лавиной катят с вершины вниз. Их не меньше двухсот, определил он опытным взглядом. Глухой рев атакующей цепи обогнал бегущую пехоту.

- Быстрей! – в последний раз прикрикнул он на своих.

И, оглядев их всех, увидел сержанта Кузина в окровавленной по плечи гимнастерке, обеими руками вытаскивающего конские кишки и требуха.

- Кузин! – заорал комбат, - Возьми свой расчет, останови!

Он понимал, что ошалевшую пехоту одним расчетом не остановишь, не задержишься тех, у кого в глазах голодная смерть. Но он рассчитывал хоть на три-четыре минуты.

Кузин ошалело оглянулся и, намотав на руку клубок кишок, кинулся вверх по склону высоты.

- За мной! В бога мать! – рычал он, созывая свой орудийный расчет.

Пятеро артиллеристов, тоже забрызганных кровью по самые уши, кинулись за ним, не раздумывая.

Лавина неслась на них, не снижая скорости. Батарейцы оглядывались на бегу, ожидая подмоги. Подмоги не было.

- Стой! Стой, в бога мать! – поднял Кузин на собой руку, обмотанную кишками.

- Стой! В бога мать! – вскинули над головами окровавленные руки артиллеристы кузинского расчета.

И последний ряд накатившейся лавины внезапно сбился с шага, начал останавливаться.

Конечно, шестерым никогда не остановить атакующую цепь. Но кровь, капающая с них и размазанная по лицам, окровавленные гимнастерки – все это поразило и сбило передние ряды с толку, а задние, натыкаясь на них, тоже задерживались.

Им представилось, что перед ними стояли израненные, изуродованные люди. А нет святее дела на фронте, как броситься на помощь раненому, тому, кто нуждается в немедленной помощи каждого, кто окажется рядом. Месяцы на переднем крае приучили фронтовиков только так откликаться на вид человека, по которому течет кровь. Артиллеристы даже не успели понять отчего остановились вдруг пехотинцы, когда могли снести враз, за минуту-две.

- Быстрей! – гнал тем временем Железняков тех, кто рубил конскую тушу, - Быстрей!

Опомнившаяся и уже разобравшаяся в том, что перед нею не раненые, пехотная цепь стала справа и слева обходить орудийный расчет, стоящий у нее на пути. Она бы сделала это мигом, да все сбились к центру, каждый уже невольно стремился быть ближе к месту , где на глазах уменьшалась груда мяса, недавно бывшая конем.

Справа оказались более быстрые и решительные. Они и рванулись в обход.

- Стой! – кинулся вправо и Кузин.

- Кузин! Отдай им кишки! – проорал последнее распоряжение Железняков.

И Кузин, размахнувшись , швырнул ком кишок влево, где было большинство людей прямо над их головами.

Кишки! Еда! Их увидели все, все до единого изголодавшиеся люди. И несколько минут ловили и рвали кишки на куски. А некоторые пытались тут же и откусить хоть клок, и сразу сжевать то, что доставалось.

- Всем расчетам вернуться к орудиям! – еще раз перекрыл шум свалки голос Железнякова.

И артиллеристы, бросив остатки Буйвола, вырвались из толпы, умчались с берега Перекши, унося последние вырубленные из остатков куска мяса.

А на месте , где двадцать минут назад рухнул Буйвол, продолжалась добыча еды. В каждую кость впивалось несколько рук, в каждый клок мяса. Они уменьшались и уменьшались, переходя от одного к другому. И скоро уже рвать было нечего. Но самые голодные еще ползали по земле, стебали ее, напитанную кровью лошади, жевали, плевались и снова кидались на поиски.

- П-о-о-лк, см-и-р-р-но! – раскатился вдруг над берегом зычный командирский голос.

Не разом. Нет не разом. Но после второй команды и дроби автоматной очереди, запущенной в небо, люди стали приходить в себя.

- Р-р-о-та, смир-р-рно! – повторил команду звонкий мальчишечий голос.

И, раздвигая плечом красноармейцев, гулко зашагал к командиру полка юный младший лейтенант в мокрой солдатской шинели, также как и его бойцов по самый ворот облепленной окопной глиной.

Значит, были тут командиры, удивился Железняков. Были , а увидеть он их не мог. Хотя чему ж удивляться, когда даже ротные меняются чуть ли не два раза в месяц. Потери в окопах весной почти как летом в наступлении. Не захотелось такому вот юнцу лезть в окопе через грязь по пояс, значит , по грудь и высунется над бруствером. Ну, а пуля, как всегда, тут как тут.

Командир полка, тридцативосьмилетний капитан Кузнецов, быстрыми круглыми глазами вмиг охватил все происходящее перед ним. Дал людям время придти в себя, оправить гимнастерки и шинели, затянуть ремни, а доклад младшего лейтенанта слушать не стал. Уже почти все поняв, обратился прямо к тому, с кем вместе сражался в февральском десанте, когда их от полка осталось живых всего двенадцать человек. Капитан тогда еще полюбил его за отвагу и отчаянность, он и потом не раз прославился в зимних и весенних боях. Но, как теперь догадывался Кузнецов, вероятнее всего был виновником всей здешней кутерьмы.

- Что здесь происходит , Железняков? – нарочито сухо и сурово спросил полковой командир.

- Да вот, - начал было растерянно Железняков, - Кто-то коня убил…

Все вылетело у него из головы. Все. Он, который почти двое суток готовил операцию «Буйвол», каждого учил и как действовать и как отвечать на хитрые казенные вопросы, не нашел слов, чтобы ответить на самый первый , самый простой.

Сказав свои нелепые слова, комбат, похолодев внутри, понял, что вот и ни к чему вся двухдневная подготовка. Если он, московский студент, вмиг не нашелся, то чего же ждать от мордовской деревни, откуда пришли многие батарейцы, а ездовые поголовно, чего ждать от рядовых колхозников и рабочих. Ясно, что из них, коль дойдет до следствия, все вытянут и вызнают.

Все-то ему ясно студенту, да не знает он толком ни этих вот мордовских крестьян, ни рабочих. Ему двадцатилетнему лейтенанту , хоть он герой полка и всеобщий любимец, при его скудном жизненном опыте и не снилось, как ведут себя в тяжких ситуациях те самые люди, о которых он сейчас думает, что они растеряются больше его.

А капитан , за чьими плечами так много всего, что вчерашнему студенту просто невдомек, после первых слов Железнякова понял все до конца. И то,

что произошло. И то, что может быть, если дать растерявшемуся лейтенанту говорить дальше. Еще две-три фразы, которые запомнят стоящие вокруг люди, и уже ничего нельзя будет поправить. Все ставит необратимым.

- Как докладываете? – грубо обрывает он лейтенанта, - Что плетете? Научитесь когда-нибудь говорить по-военному точно? Повторите. Пуля, залетевшая со стороны противника…

- Так точно! – вскинулся разом пришедший в себя лейтенант, - Пуля, залетевшая со стороны противника….

Но командиру полка мало того, что понял его Железняков. И он не дает договорить и ему.

- Командир роты! Доложите, что натворила тут пуля, залетевшая со стороны противника.

Он впрессовывает эту пулю в создание каждого, кто здесь слушает. Понимает, что трижды повторенное запомнится всеми и не забудется.

Младший лейтенант уже повторил его фразу, как свою.

- Пуля, залетевшая со стороны противника, сбила ехавшего верхом командира батареи и убила его коня.

- Как это сбила? – закрепит мигом капитан, - Вот он комбат, совсем живой.

- Вся рота видела, как сбила, - заупрямился вдруг младший лейтенант, - И коня убила. Я сам видел.

Ему действительно казалось теперь, что он сам видел то, о чем кричали наблюдатели. Тем самым завершая то, к чему подталкивал исповедь капитан Кузнецов.

Быстрые глаза капитана пробежали с ротного на Железнякова, на пехотинцев, которые согласно гудели, а некоторые даже кивали головами.

Из Кирова, ребята? – обратился он к ним, зная, что другого пополнения полк давно не получал.

- Из Кирова…Вятские…- послышалась в ответ.

- Вятские…вятские, - заулыбался капитан, - Ребята хватские, семеро одного не боятся.

- А один на один все котомки отдадим, - тоже засмеялся кто-то из вятских.

- Во-во! – поддержал капитан, продолжая вятские поговорки, - На полу сидим и не падаем.

- Вы не из наших кировских будете, товарищ командир, - осмелев, спросил кто-то, - Не из вятских?

- Нет, братцы, это у вас, помнится, вятские корову на крышу затаскивали, чтоб траву там объела? У нас в Донбассе такого не было.

И вдруг капитан резко обернулся к Железнякову.

- А ну-ка, дай шапку.

Тот, не понимая, снял ушанку и протянул ее Кузнецову. Он вовсе и не помнил сейчас ни ожога от пули, ни того, как перекрутилась на голове шапка. Но точный глаз капитана уже несколько минут держал где-то в подсознании и опаленный вздыбившийся мех и надорванный клок ушанки Железнякова. И не дал этому уйти в небытие, соединил воедино все впечатления.

Теперь он крутил в руках шапку Железнякова. И нашел, наконец, проснулся палец в опаленное отверстие.

- Смотри-ка, действительно. Не контузило тебя, лейтенант?

Все с интересом установились на шапку и на капитанский палец.

- Во, повезло противотанкисту, - прогудел ближний пехотинец.

- Да, два сантиметра в сторону и черепушку долой, - закивали сразу несколько знатоков.

Ну, все. Теперь хоть черт, хоть дьявол, всем свидетелям ясно, что они это видели.

- Видите роту в окопы, - приказал капитан младшему лейтенанту.

- Р-о-т-та, в колонцу по два, становись! – раскинул он в стороны руки.

- Письменно донесите командиру батальона все, что тут произошло. Батальон к боевому донесению вечером должен приложить Ваш рапорт.

- Есть! Разрешите вести роту?

- Ведите.

- Правое плечо, вперед! Шагом марш!...Прямо!

Взводный Поляков. Ты не снайпер и не мог убить своего комбата. Но как же счастливо ты промахнулся. Дважды счастливо – не попав, но задев.

- Ты все понял? – свирепо спросил командир полка у командира батареи.

- Все, - поднял тот на него хмурый взгляд.

- Всего от тебя ожидал. Но дурости! – капитан, не прощаясь, махнул рукой адъютанту и зашагал на передовую, быстро взбираясь на кручу к Красной горке.

Железняков не решился спросить, что тот считал дуростью, то ли всю операцию «Буйвол», то ли растерянность первых минут встречи.

Первый котелок наваристого супа с мясом старшина передал Буйволу, чтобы тот накормил им совсем уж истаявшего Ермошкина.

Но Ермошкин , едва взглянул на суп, заплакал и есть не стал.

- Буйвол, бедный Буйвол, - чуть слышно запричитал он.

Буйлин пытался уговорить его. Упрямо совал ему ложку в рот. Но Ермошкин с неожиданной силой так оттолкнул его, что котелок, бренча дужкой , выкатился из шалаша, пролив весь суп до капли.

Буйлин, тихо матерясь, подобрал с елового лапника все кусочки мяса до единого и пятясь вылез в дверной проем, удивленно поглядывая на Ермошкина и слыша его шопот:

- Буйвол, бедный Буйвол.

Ночью ординарец Юмагулов тронул за плечо командира батареи.

Железняков, будто и не спал тяжелым сном, разом вскочил, затягивая ремень. Сапоги за всю весну никто ни разу не снимал, надевать не пришлось. Потрогал рукою – на месте ли пистолет и только тогда открыл глаза.

Открыл и удивился : Юмагулов стоял, одетый по-походному, за плечами висел автомат, шапка, как всегда у него в бою, надвинута на самые глаза. В гильзе на ящике из под снарядов неярко горел фитиль, освещая автомат и

шинель комбата, снятые с гвоздя гранаты и крышку от котелка с супом и плоским, величиною с ладонь куском темного, почти черного мяса.

- Командир полка вызывает, - объяснил ординарец.

- Батарею кормили? – спросил Железняков, быстро надевая шинель и кивая на мясо в крышке.

Все получили ровно по столько же. Старшина за полночи все организовал. Мясо сварено в деревенских чугунках, нарезано и в чугунах же закрыто в землю так, что никому не найти. Бульон в ведрах и термосах. Артиллеристы выпили по две кружки. Остальное, как прикажет комбат. Термоса, на всякой случай, тоже зарыты.

- Пошли! – удовлетворенно сказал Железняков, закидывая за спину автомат, без которого он ночью не ходил никогда.

Жуя на ходу и чувствуя, как странное, то ль забытое, то ли просто никогда неизведанное ощущение удовольствия и прибавления сил вместе с какой-то болью заполняют его внутри и плывет, плывет снизу вверх, он продолжал расспрашивать:

- Где зарыты чугуны, как разыскать, если убьют того, кто знает места?

- Всех разом не убьют: знают четверо. Об этом уже думали.

- Ермошкин?

Ермошкин есть Буйвола не стал. Отказывается напрочь. Плачет. Сознание теряет, а приходит в себя и опять плачет. Ребята думают, что тронулся, не в себе.

Железняков скрипнул зубами. Спать нельзя было. Не надо было спать. Но днем он подойдет к Ермошкину. Он заставит.

Юмагулов едва различимый в темноте, резко махнул рукой. Комбат уловил это по неясно мелькнувшей тени и слабому ветерку, чуть коснувшемуся лица.

- Не заставлю? – удивился он.

Молча пройдя шагов пятнадцать, Юмагулов тихо сказал:

- Заставить нельзя.

Еще через пять шагов добавил:

- Уговорить тоже. Он упрямый, мордвин.

- Ну и ты, татарин, упрямый, - остановился даже Железняков, - И сколько вас таких в батарее. Что ж, никого и не заставить, и не уговорить?

Юмагулов дальше шел молча. И в этом было несогласие, упрямое несогласие. Уже у самого штаба полка он снова убежденно повторил:

- Нет, заставить нельзя.

- А на смерть идти?

- На смерть идти не заставляют. Сами.

- Все? Сами?

Дальше говорить не пришлось: шли уже меж землянок штаба полка.

Перед блиндажами командира полка Железнякова встретил адъютант Кузнецов лейтенант Кабиров. Он молча приглянулся к лицу комбата, разглядывая его во тьме, и только протянул руку.

- Иди, - подтолкнул он его к ступенькам, ведущим вниз, - Ждет.

- А ты?

- Я буду здесь, чтобы никто не появился.

- И часовой?

- И часовой, чтоб не было.

- Во, новости на фронте,- затопал Железняков вниз по ступенькам, выстеленными досками. Гулко и звонко раскатились в темноте его шаги.

- Тише, - зашипел гусаком сверху Кабиров.

- Не ори, - тихо одернул вошедшего в блиндаж комбата Кузнецов, обрывая его доклад, - Не до формальностей, брат.

Он поднял трубку и покрутил ручку полевого телефона.

- Сколько?

Услышал короткий ответ. Снова покрутил ручку. Снова ответ был краток. И снова. И снова.

- Одиннадцать человек на грани жизни и смерти, - сказал Кузнецов, отходя от телефона, - Все ясно?

- Чего ж неясного? - Железняков знал это и раньше. Не так точно, но в общем то знал. Все в полку знали, не только он.

- Я не мог их спасти, -глухо сказал командир полка, - Не решился.

Недолго, но тяжко молчали оба. Знали друг друга давно – четыре месяца. Все время в боях, в огне. Без колебаний и сожалений ходили в такие передряги, где надежда на жизнь – ноль. Казалось, не боялись на свете ничего, со смертью все время играли в салочки и прятки. Десант, где их от шестисот в живых осталось двенадцать. Уже забывался, каждую неделю война подкидывала новые ситуации, бывало и похлеще. Без десантов от трех двенадцати в полку теперь только трое.

Чего могли испугаться Кузнецов с Железняковым? Это знали они сами. Знал весь полк. Ничего на свете.

А то, что случилось с ними сейчас, знали только они.

И Железняков был потрясен.

Помнил свои сомнения и колебания, колотившие его все три дня, что готовилась операция «Буйвол»

Смерти что-ли боялся? Расстрела?

Едва-ли. Не верил он всерьез, что расстреляют, не верил.

Жизни испугался герой переднего края.

Жизни, которая рушилась бы под следствием, в трибунале, штрафном батальоне.

На одну линию еще раз встали собственная жизнь, и смерть других.

В бою у него никаких сомнений быть не могло. А жизнь, оказалось, не имела прям решений.

Никому и никогда не признался бы он в этой слабости. Хватит, думал, того, что смерти в бою не боялся и был в этом для всех образцом.

А Кузнецов – чей героизм в боях, он знал, втрое выше его железняковского мужества, не побоялся, что ему не хватило решимости. Смелости не хватило. Ему – из героев герою.

- Спасибо тебе, что отважился на риск , - тяжело поднялся капитан.

Десять минут спустя Железняков с Юмагуловым бежали к батарее. Четко все обрисовал ему Кузнецов. С рассвета он не сможет сделать ни шагу. На нем будут висеть политотдел, прокуратура и особый отдел. Он будет отвечать на вопросы, объяснять и рассказывать. За ним будут ходить всюду. Даже ординарца никуда не выпустят одного.

Он должен выделить сейчас людей неприметных, но верных, надежных и решительных.

Уже идут в ночи на командный пункт батареи такие же люди из батальона и медсанроты.

Сейчас с ведра с бульоном, о котором рассказал Железняков командиру полка, нужно передать им. И по два котелка вареного мяса тоже. Командиры батальонов лично будут распределять дары, которые свалятся на них с неба.

- Весь полк мы твоим Буйволом не накормим, - обнял на прощанье Кузнецов комбат, - Но людей от смерти спасем.

Кузнецов медленно подошел к гильзе от снаряда, в которой неярко горел фитиль и прибавил огня.

В ярко вспыхнувшем свете опять вплотную приблизился к Железнякову, прямо посмотрел ему в лицо и крепко, до боли, сжал руку.

- Действуй, комбат. И , на всякий случай, прощай. Многое завтра может случиться с нами.

Ни одного человека не отдал больше голодной смерти тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Никто за неделю, пока не подсохли дороги и наладилось снабжение, не умер ни в окопах, ни в батареях, ни в других подразделениях полка.

И только Ермошкин так и не встал.

Его похоронила в деревне Красная горка под высотой двести сорок восемь ноль десятого мая тысяча девятьсот сорок второго года.

Подполковник Кузнецов довел полк до Прибалтики и был убит на западном берегу Немана. Похоронен на воинском кладбище литовского города Капсукас.

1986 г., апрель

Звенигород

Москва, 125319, ул. Услевича 2, кв.14